

Мертвцы идут домой

Любезный друг!

Ты видишь, что мы на много шагов сблизились уже друг с другом. Время холодное: 4 или 5 градусов; земля покрыта снегом. Здоровье мое хорошо, я думаю о тебе. Я за счастье считаю скорое с тобою свидание, ты в этом не можешь сомневаться, потому что знаешь, сколь нежно я тебя люблю.

Обними моего сына.

*письмо Наполеона Бонапарта императрице Марии-Луизе.
30-го октября 1812, Смоленск.*

Солдат, ковыляющий впереди Лабрю, бос. Острые края прихваченного морозом снега и льда изрезали его ноги – кожа со ступней слезла и волочится, как рваный носок. Его следы кровавы. Он не чувствует боли, но идти ему недолго – мышцы уже начинают отслаиваться. «Он не дойдет до дома», – равнодушно думает Лабрю.

Что-то фыркает около его уха, обдавая влажным жаром. Он отстраняется – рядом с ним, неуклюже проваливаясь в снег, то и дело отступаясь, бредет большой соловый жеребец. Конь косит на Лабрю круглым лиловым глазом и недовольно хрюпит, порываясь встать на дыбы.

Всадник, погруженный в раздумья, практически недвижим и лишь легким движением руки поправляет поводья. Это некрупный – кажется, даже невысокий – мужчина в теплой собольей, покрытой зеленым бархатом и расшитой золотом, шубе и большом, не по размеру, меховом чепце.

Лабрю узнает его – и не верит своим глазам. Или не хочет верить.

Вокруг рта всадника легли глубокие морщины, глаза устало полуприкрыты воспаленными красными веками, на заиндевевших ресницах дрожат льдинки. Он смотрит прямо перед собой – и одновременно в никуда. Его измученное сознание терзает упрямая, неотвязная мысль – и Лабрю понимает, какая.

Лабрю не то что никогда не видел – он никогда не мог и помыслить увидеть его таким. Таким осунувшимся, таким бледным, таким усталым... Таким слабым. И сердце пронзает ост्रое чувство – это их вина! Вина всех них – тех, кто бредет по этой бесконечной дороге, кто остался лежать на заснеженных равнинах, кого разметало по буеракам и колдобинам, выпотрошило в овраги, перемололо в пищу для червей. Они, именно они не смогли, не оправдали, не выдюжили!

И откуда-то из глубины души, из недр истерзанного нутра исходит звериный вопль:

– Виват Императору!

Холод схватывает связки, дает под дых – и вопль обращается в хриплый сип.

– Виват Императору! – повторяет Лабрю, вытягиваясь в струнку.

Замерзшие мышцы не повинуются, суставы трещат, жилы дрожат и ноют.

– Виват Императору! – шелестит по рядам, словно осенний ветер гонит жухлую листву.

Наполеон медленно поднимает голову. Его взгляд пуст

Кривая горькая улыбка трогает его губы. Нижняя лопается и на ней, как ягода рябины, распускается капля крови.

– Виват Императору... – шепчет Лабрю.

Император все так же медленно, словно холод сковывает все его члены, переводит взгляд на Лабрю.

И вздрагивает.

Странная гримаса искажает его лицо – дрожат и кривятся губы, глаза наполняются ужасом, гортанный хриплый вскрик исходит из его горла. Он привстает на стременах, продолжая смотреть на Лабрю, словно не в силах оторвать от него взгляд – и пришпоривает лошадь.

Лабрю глядит ему вслед.

А потом опускает голову и продолжает свой скорбный путь.

– А еще у Хозяина Леса на ладони-то, вот прямо туточки... – заскорузлый палец деда Митяя показывает на мозолистой ладони, где именно, – ... коготочек растет. Махонький-то, с мизинчик младенца. Вот коготочком-то энтим-то Хозяин Леса жилочку на шее – цоп! – дед Митяя делает резкое, подсекающее движение, выставив согнутым крючком палец, – и подцепляет! А как жилочка-то порвется – так у человека жизнь-то и вытечет.

Виська заворожено смотрит на губы деда Митяя. Они почти скрыты под густой, неряшливой, клочковатой бородой, в которой сейчас запутались крошки от сухарей – но за эти месяцы Виська принаоровился к тому, как двигается лицо деда Митяя во время разговора. Вот трубочкой тянутся губы – это «у», вот в зарослях седых, с рыжинкой, волос, появляется влажный черный провал – это «а», вот на мгновение мелькает тень ненастоящей улыбки – это «и»... Виську дед понимает гораздо хуже – тому то и дело приходится мычать, снова и снова пытаясь объяснить неуклюжими жестами, что же именно он имеет в виду.

Дед Митяй наклоняется и подкидывает в костер еще полено. Пламя на мгновение вытягивает к небу жадный охристый язык – и снова опадает, погружаясь в спокойное, но жаркое тление.

Они сидят на завалинке, лениво перебирая в руках крупянистый, сухой снег – им некуда спешить и не для чего торопиться. Впереди у них целая зима, закутанная в плат размеженных и тягучих разговоров и полных сладкой жути быличек.

– Не любит он, Хозяин-то, когда огня много, – поясняет дед, повернув лицо к Виське. – Огонь лесу враг, искрица шальная – и все, пожар. Вот вода-то Хозяину по сердцу. Как идешь в лес – возьми с собой в туеске-то водицы, али молочка. Хлебца краюху тоже хорошо. Тебе мелочи – а Хозяину отрада. Помнят его, значить-то, уважают.

Виська криво усмехается. Молока он не видел уже месяца три – единственная корова, каким-то чудом уцелевшая после шествия французских войск на Москву, не пережила однажды ночной набег волков. Наутро остался лишь развороченный сарай, перепаханный кровавый снег и доиста обглоданные кости – на которых они с дедом еще неделю варили пустой суп с березовой корой. С водицей тоже дела плохи – в колодце с лета плавает вниз лицом разбухший до неузнаваемости труп. Они даже не знают, чей он – француза или кого-то из деревенских: дед Митяй долго гонял мертвеца багром, пытаясь подцепить и выволочить наверх, но тот никак не поддавался, только тупо тыкался головой о стенки колодца, пока череп не треснул и не истек серовато-розовой жижей. Дед Митяй прикрыл оголовок крышкой и навалил сверху камней – но если стоять рядом, то нет-нет, да и можно еще почуять едва уловимый сладковатый, какой-то липкий, запах.

Они с дедом Митяем тут одни – деревня мертвя, половина домов разрушена или сожжена, изгороди разворочены, сквозь балки разоренных крыш видно небо. Дорога, ведущая на Москву, проходит гораздо дальше – но несколько французских отрядов, наглых и самоуверенных, в поисках добычи отделились от армии и свернули сюда. После себя они оставили шкуры и головы забитого скота, трупы павших от усталости лошадей – забрав с собой все, чем могли поживиться.

А еще слух и речь Виськи, унесенные внезапным выстрелом над ухом – шутки ради, забавы для.

Небо тяжелеет. Оно словно каменеет, становясь твердым и темным.

Погода портится. Вот-вот пойдет снег.

Порывы ветра усиливаются, вышибая дух и вымораживая глаза – приходится зажмуливаться и дышать в краткие промежутки, пока ветер собирается для нового удара.

Солдаты останавливаются и начинают располагаться на ночлег. Они живут от стоянки к стоянке. Они не ждут ничего – знают, что ничто не изменится, и новая стоянка будет не лучше старых. Важно лишь одно – они окажутся чуть ближе к дому.

Форменных мундиров практически не видно – скрыты под одеялами, парусиной, тулупами, шарфами, платками – последние накручены не только на тело, но и на руки, на ноги как обмотки, на голову, наподобие чалмы, вокруг кивера. Это не люди, это какие-то странные существа – мохнатые, волосатые, разноцветные, лишь вместо шкур у них тряпки.

Они сбиваются вокруг костра, тесно прижившись друг к другу, чтобы не упустить ни крохи тепла. Тянут огрубевшие, обмороженные руки к котелку и жадно хватают пайку. Первые несколько минут все молчат – лишь шумно работают челюсти, туда-сюда ходят кадыки на худых, черных от грязи и пота, шеях, раздуваются и сопят, шмыгая выгнанную горячей пищей соплю, ноздри. Еда придает им не только сил, но и жизни – красные и потрескавшиеся от мороза щеки кажутся смазанными жиром, глаза масляно блестят, челюсти продолжают двигаться – но уже в разговорах.

– В третьей роте ночью сержант помер, – равнодушно говорит Ришар.

Люди мрут каждую ночь десятками – замерзают, иссыхают от голода, сгнивают от гангрены, сгорают от лихорадки – но есть смерти, которые смакуют, весть о которых передают из отряда в отряд от одной убогой кучки солдат к другой – смерти интересные, необычные, о которых каждый думает «Ну уж я-то смогу такую избежать!»

– Они на корову наткнулись, – продолжает Ришар, пододвигаясь поближе к костру. Ему уступают место – это привилегия рассказчика, который поможет не помнить хотя бы несколько минут о пронизывающем холде, о голоде, который выкручивает кишки, дробит их и перемешивает. Ришар выпрастывает ладони из рукавов и подставляет их жалкому огню. На правой руке у него не хватает мизинца и половины безымянного пальца, на левой только безымянный и остался – в него вросло, вмерзло тоненькое обручальное кольцо – все остальные, отмороженные и опавшие как гнилые ветки, хранятся у него в ранце, завернутые в платок. Ришар каждый вечер проверяет этот жуткий сверток, пересчитывая его содержимое. В эти моменты его губы шевелятся, и если напрячь слух, то можно разобрать: «Сорока-воровка кашу варила, кашу варила, деток кормила...»

– Сержант приказал корову зарезать. Сварили ее, налопались от пуз – она хоть и старая, жилистая была, но мясо, как-никак. У Бардье, который мне это рассказал, потом живот пучило и кишки из задницы лезли – с непривычки нажрались....

– Давай дальше! – нетерпеливо торопят его из темноты. При упоминании еды рты наполняются горькой голодной слюной, которая жжет горло, как кислота.

– А потом сержант приказал шкуру ему отдать. Расстелил шерстью вверх, завернулся в... как это называется... тульюп – и лег спать.

По обветренным и обмороженным черным губам Ришара пробегает усмешка. Лабрю видит, как те трескаются, словно сухая глина под палящими лучами солнца – но ни капли крови не выступает.

– Утром все встают, пора уже идти дальше – а сержант не встает. Его тормошат, пытаются разбудить – а тулуп за ночь примерз к шкуре, не развернуть. Пришлось трем солдатам тащить этот куль к огню, ждать, пока шкура не оттает. А как развернули, так сержант и вывалился оттуда – весь синий, язык вывалился, пальцы скрючены, ногти содраны. Выбраться не смог, вот и задохся!

Ришар снова зло усмехается. Он мелко торжествует – жадный сержант получил по заслугам. Лабрю тоже не может сдержать усмешки – ему кажется, что смехом над чужой смертью он прогоняет свою.

Людей тянет в сон. Они сворачиваются вокруг тлеющих костров, как улитки. Их невозможно отличить от снега. Лабрю тоже клонит в дремоту, его сознание путается и уплывает куда-то вдаль, покачивая на волнах воспоминаний. На ум приходит дом, запах теплого, свежевыпеченного хлеба, кошка, трущаяся об ноги – и мягкие руки жены, нежно обвивающие его шею…

Лабрю встрыхивается, будто промокший воробей, и резко встает – суставы скрипят, как несмазанные дверные петли, обмороженная кожа натягивается, словно на старом, трухлявом барабане. Ему всего двадцать – но кажется, что он так же стар, как это промерзшее пустое, бесплодное поле, как это слепое, безразличное небо, как этот мертвый, неумолимый снег.

Он не хочет видеть эти сны – он не желает мечтать о доме.

Он просто туда идет.

– Говорят, что мы скоро выйдем к деревням, – говорит вечно голодный Колиньи, грея руки о походный котелок. На его пальцах вздуваются волдыри ожогов, но он, кажется, этого не замечает.

– А это тебе что было? – хмыкает Ришар, тыча рукой куда-то за спину, напоминая всем о черных, сожженных дотла, с обрушившимися стенами, выпущенными из оконных дыр и лопнувшими бычьими пузырями, убогих и мертвых домах.

– Не, – мотает головой Колиньи. – Я говорю о хороших деревнях. Где есть люди. Где тепло. Где еда.

От упоминания еды по тесному кругу прокатывается жадный вздох. Они давно уже едят лишь два раза в день – во время привалов – питаясь сгнившими, напоминающими скорее куски торфа, сухарями и вяленым, когда-то источенным червями, а теперь промерзшим до каменной твердости, мясом.

– Я бы не радовался, – сумрачно подает голос их постоянный рассказчик, Буке. Он зол на Ришара, который перехватил у него интересную историю, и теперь хочет испортить настроение всем. – И не рассчитывал бы на возможность поживиться. Вряд ли крестьяне встретят нас с распластертыми объятиями.

– Кто их спросит? – равнодушно отзыается Колиньи.

– Я бы не стал брать сам, – качает головой Буке. – Дорого обойдется. Я в Москве с одним польским уланом сдружился. У меня бабка из польских евреек была, так что кое-что я помню из языка, ну и тот по-французски что-то сложить мог…

Буке замокает, глядя на огонь.

– Хороший парень был, – тихо произносит он, наконец. – Дочь у него незадолго до похода родилась, мать старенькая ждала… Погиб по-дуряцки. Когда Москва горела, решился хоть что-нибудь награбить, ну и рванул по улице, туда, где дворянские особняки стояли. А там уже пыпало все… Эх!

Он машет рукой и продолжает:

– Улан рассказывал мне, что у них в полку мародеры особенно зверствовали, брали все – еду, одежду, оклады с икон, распихивали, куда лезло, обжирались до заворота кишок, набивали ранцы так, что на швах рвались…

– Так расстрельные же команды были? – угрюмо бурчит кто-то.

– Были, – кивает Буке. – Но какая разница, когда помирать – чуть раньше или чуть позже? У них даже особым шиком считалось идти на расстрел, попыхивая трубкой – мол, плевать на все.

– Расстрельные команды сейчас впереди все драпают, – хмыкает Колиньи. – Им не до нас.

— Вот и решили по-другому пугать. Как ловили мародера, то раздевали его догола, привязывали где-нибудь на площади к столбу, выдавали двум солдатам по кнуту — и приказывали стегать.

— Сколько ударов? — живо интересуются из темноты.

— Пока кожа с мясом не слезет, — отвечает Буке. — И потом полк проводили мимо, чтобы все видели. Улан говорил, когда их вели — это просто скелет был. Кожа, мясо, требуха — все кашей на земле валяется, только сердце с легкими в ребрах держится. И дерьмом на всю площадь несет.

Наступает тишина.

— Нет, ну это же поляки, — неуверенно говорит кто-то.

— Мой отец — офицер, — внезапно произносит Поклен, уставившись на огонь. Отблески бегают по его лицу, вычерчивая глубокие черные морщины — словно на него надели лошадиную упряжь. — Во всяком случае, так говорила мать. Их отряд стоял в нашем городке, ну и... много ли надо молоденькой девчонке? Рожок трубит, штыки сверкают на солнце, знамена развеваются, усы щекочут щеку, в ухо жарко шепчут нежные слова... Отряд ушел, а мать осталась. Со мной. Но она никогда не винила отца. Несмотря на то, что и имени его не знала. Наоборот, все детство рассказывала мне, что он герой, что война — это подвиги, схватки, что-то величественное во славу Великой Франции. А война — это вонь, это грязь по колено, вода по пояс, тухлая кровь, куски мяса, вырываемые из тела, вши... Это мох, который растет на лицах трупов, это вываленные на землю кишечки, которые растаскивают вороны и собаки, это прожорливая земля, которая никак не может насытиться мертвецами!

Он издает тоненький вой и начинает биться в рыданиях.

Ришар успокаивающим жестом кладет ему на плечо свою кулью. Поклен жадно хватает ее, и поворачивается к нему.

— Мы не вернемся домой, не вернемся... — лихорадочно шепчет он.

Лабрю вспоминает всю встречу с императором и рассказывает о ней.

— Он словно шел за гробом, — добавляет он в конце.

— Кто знает, — качает головой Буке. — Может быть, он и вправду идет за гробом.

Повисает тишина.

Темная, разбухшая, готовая вот-вот разродиться туча надвигается на изуродованное, мертвое поле. В день медленно вползает ночь.

Начинает идти снег.

— А еще есть снеговая старуха-то, — говорит дед Митяй, проверяя пальцем лезвие топора.

Виська кивает, зачерпывает рукой снег и пытается скатать его. Снежок не выходит — слишком рыхлый и кособокий, он рассыпается в труху. Дед Митяй качает головой.

— Нет, — говорит он. — Не снежная баба-то. Старуха. Снеговая. На ветре она катается, в метели к нам приходит. Иногда просто посмотреть на наше житье-бытье, иногда проучить...

Виська недоуменно выставляет руки ладонями вверх. Дед Митяй пожимает плечами.

— Да просто так проучить. Чтобы не надоедали-то лишний раз. А может, кто-то когда-то и обидел ее, досадил чем-то — а она обиделась. Ну и мстит людям-то. Никто не знает, ну а у ней, конечно, не спросить-то. Ты только одно помни — как увидел снеговую старуху-то, не беги от нее, не прячься. Все равно найдет и нагонит. Падай на землю и руки-то раскидывай, будто то крест лежит. Старуха-то будет кружиться вокруг тебя, звать ласково — ты не откликайся, не заговаривай с ней... — Дед Митяй осекается, смотрит на

Виську и машет рукой: – Хотя что это я... Потом начнет от земли отрывать-то, приподнимать – а ты молитвы читай и ни о чем больше не думай. Она поймет, что у нее не выходит-то ничего – и оставит тебя.

Виська хмыкает и продолжается пытаться слепить снежок.

Здесь, в овраге тепло – развели несколько костров, набилось полсотни человек. Как цветок, распускается густая, удущливая вонь – гниющие раны, мокнущие язвы, дермо, моча, немытые тела. Места, где скопились солдаты, можно найти по запаху – и по синеватому пару, который клубится над скучившимися людьми.

– В пятом взводе собаку сожрали, – говорит Буке.

Те, кто его слышат, пожимают плечами – эка невидаль, собака!

– Это был Гастон, полковой пес, – поясняет Буке.

Теперь все вздыхают: полковой пес все равно что твой сослуживец. Его гибель – дурная весть для полка. Ну а съесть – все равно что сожрать своего же солдата.

– Ладно вам! – говорит Ришар – сегодня он кашеварит. – Готово уже.

Все пододвигаются поближе. Ришар выхватывает из котла склизкий, мутный ком, в котором поблескивает что-то черное.

– Пальцы совсем не работают, – извиняясь, бормочет Ришар, показывая свои культишки. – Не удалось хорошо ощипать.

Это ворона – худая и жилистая, кажется, и сдохшая своей смертью. Ее шея свернута под немыслимым даже для мертвый птицы углом, один глаз вытек, второй болтается на тоненькой, как паутинка, ниточке нерва и словно обводит всех укоряющим взглядом.

– Делим, – решительно говорит Лабрю,

Ворону терзают мгновенно. Каждому достается крохотный – буквально с ноготь, кусочек мяса или требухи. У Лабрю это ошметок лапы с длинным, кривым когтем. Он запихивает его в рот и заедает снегом горький, бьющий в нос и отдающийся отрыжкой привкус.

– Как дойдем до деревни, местным не верить, – поучает Буке. Его морщинистое, мятое, словно поношенное лицо, искажается в злобной гримасе. – Говорят, они заманивают солдат и офицеров, чтобы убить и ограбить. А женщины их ничем мужчинам не уступают. Я слышал, что они запихивают умирающим французам навоз со словами: «На тебе, хлебушка покушать»!

– Что, так и говорят? – с сомнением переспрашивает Ришар. – Прям по-французски и говорят?

Буке тушуется.

– Наверное, выучили, – бормочет он. – Ну или по-русски...

– А кто тогда узнал, что именно они говорят?

– Да идите вы! – машет рукой Буке. – Не хотите верить, не надо!

Все гогочут – громко, истошно, отчаянно, словно прогоняя этим истеричным полусмехом-полурыком холод, голод и смерть.

– Офицеры в третьей роте стали стреляться, – внезапно говорит Поклен.

– Ну так то офицеры, – качает головой Буке. – Им застрелиться – что раз плонуть.

Они и на дуэлях стреляются, ради веселья.

Все снова гогочут – уже просто так. Выпученные глаза, раззиянные рты, распухшие носы и усы, слипшиеся от соплей и гноя – это не лица, это какие-то жуткие маски, дурно слепленные и перекошенные.

Вдруг смех стихает – так же внезапно, как и начался.

Среди них чужаки.

Это два старика, лет пятидесяти-шестидесяти – точнее сказать сложно, мороз и ветер своевольно добавляют людям морщин и седины, превращая юнцов в дряхлые развалины. Но на этих солдатах обтрепанные мундиры старой гвардии – и ни о чем догадываться не нужно. Кроме одного – как сюда попали эти ветераны? Они должны идти впереди, вместе с императором, чеканя шаг и отбиваясь от носящихся в вихрях метели казаков! Им не место здесь, среди отстающих.

– Пошли вон! – орет кто-то во всю глотку.

– Купцы, жиды сраные! – вторит ему другой.

– Когда мы с голоду дохли, они в Москве живорвали!

Лабрю качает головой, поеживаясь. Гвардейцев ненавидят. За славу и почести, за московские квартиры – в то время, когда остальная армия мерзла где-то в полях – за дополнительный паек в лучшие времена. Сейчас эта ненависть стала звериной, безжалостной и людоедской.

– Пожалуйста, – надтреснутым голосом умоляет один из старииков. Его щеку пересекает застарелый шрам. – Мы не просим еды, просто пустите нас погреться. Наутро мы уйдем.

– Вон! – ревут из темноты. Кто-то встает во весь рост и замахивается ружьем.

– Не надо, Шарль, – другой стариик успокаивающим жестом кладет руку на плечо соратнику. – Не надо.

Ветераны уходят в ночь, гонимые снежными вихрями.

Лабрю поплотнее заворачивается в украденную во время угара разграбления Москвы шубу, прислоняется спиной к камню – он надеется, что это именно камень, а не окоченевший труп, но нет сил проверять – и пытается погрузиться в сон.

Что-то терзает его слух – неуловимое, неразборчивое, словно скребется в черепе, не давая задремать, тревожит и тормошит. Лабрю с трудом разлепляет веки и прислушивается.

– Жюли очень нравятся мои пальцы, – бормочет Ришар, любовно поглаживая серые, похожие на мертвых рыбок, кусочки плоти. – Я был пианистом в кабачке напротив церкви Мадлен. Мы там и познакомились. Она говорит, что прежде всего влюбилась в мои пальцы...

Сломанный и криво сросшийся средний; указательный, с засохшей под криво обкусанным ногтем каемочкой бурой крови; большой, весь в шрамах, как старое дерево; слипшиеся, смерзшиеся в комок мизинец и половина безымянного; еще один мизинец с длинным, как у женщины, ногтем, чтобы легче было подчерпывать табак и порох...

– Их же пришлют, правда? – спрашивает Ришар, с надеждой заглядывая Лабрю в глаза. – В Париже их же смогут пришить обратно?

Лабрю стискивает зубы.

– Сорока-воровка кашу варила... – шепчет Ришар. – Этому дала, этому дала...

Он баюкает их как детей – сломанный и криво сросшийся средний; указательный, с засохшей под криво обкусанным ногтем каемочкой бурой крови; большой, весь в шрамах, как старое дерево; слипшиеся, смерзшиеся в комок мизинец и половина безымянного; еще один мизинец с длинным, как у женщины, ногтем, чтобы легче было подчерпывать табак и порох...

– Пришлют, – отвечает Лабрю. – Обязательно. Будут как новые. И ты снова сможешь играть в кабачке напротив церкви Мадлен.

Ришар упрямо мотает головой.

– Нет, – твердо говорит он. – Нет. Только для Жюли. Теперь я буду играть только для Жюли.

Он снова склоняется над частицами себя.

— Лес-то таперича не тот, — дед Митяй наклоняется к кострищу и выуживает из золы черную, скукоженную картофелину. Перекидывает в руках, смачно дует — а потом перебрасывает ее Виське. — Изменился лес-то... Много чужаков сюда пришло.

Картофелина мелкая, скособоченная, каким-то чудом уцелевшая в земле с прошлого года — они с дедом Митяем накопали их с полведра на поле, что за лесом — но когда Виська разламывает ее, то из солнечно-желтой сердцевины идет сырный, мучной дух. Едва очистив, Виська запихивает ее, еще горячую в рот, и шумно дышит, пытаясь остыть.

Дед Митяй ест неторопливо, обсасывая шкурку, невзирая на золу и пепел.

Виська мычит, приставляя раскрытую ладонь к макушке, пытаясь изобразить французский кивер. Дед Митяй смотрит на него, восстановливая нить разговора — а потом отрицательно мотает головой.

— А нет, не французы чужаки-то энти. Французы-то по другим лесам прошли. Где пожгли, где разорили, где потоптали. А где не французы — там свои же, крестьяне-то сбежавшие попрятались. Места лесным жителям не осталось, вот они и двинулись-то туда, где спокойнее.

Виська довольно улыбается, обнажает зубы и приставляет к ним два пальца, словно заячьи резцы. Дед Митяй качает головой:

— Не, не радуйся. Энти к нам не придут-то. Кого сожрали, кто по норам сидит и не высовывается, шкурку свою бережет-то. Так что не видать нам пока хорошей охоты-то. Другие идут к нам.

Виська округляет глаза, не в силах отвести взгляд от губ деда Митяя.

— Другие, — повторяет тот и замолкает.

На востоке разгорается зарево. Сквозь смерзшиеся ресницы кажется, что это охваченная пожаром Москва догнала их и надвигается, чтобы пожрать, всосать в себя, не дать уйти домой.

Из оврагов вылезают бесформенные, чудовищные тени, какие-то заиндевевшие туши, словно разбуженные от спячки медведи. Но то всего лишь солдаты поднимаются ото сна. Их глаза воспалены, к синюшным губам прилипли ошметки табака, красные и сизые лица заросли бородами, носы распухли, ноздри залеплены белесой коркой соплей. Кто-то остервенело чешется — вши, словно предчувствуя скорую смерть своих хозяев, кусаются с удвоенной силой. Раньше, на стоянках, можно было скинуть рубахи и прокатать прикладом швы, наслаждаясь хрустом лопающихся паразитов — но сейчас никто не осмелится скинуть с себя хотя бы часть из тех одежд, которые надеты, намотаны, накинуты на их изможденные тела.

На ощупь, в полутишине, все разбирают свои ружья, составленные в пирамиды. Это очень просто — каждый сделал какую-то заметку. У Лабрю на ремне привязан шнурок, у Буке — три зарубки на прикладе, Ришар прижег ремень огнivом. Они держатся за свои ружья, как за величайшую ценность, как за дорогой талисман. Как за билет домой.

Ледяной ветер сбивает с ног, раскачивая людей, как деревья. То тут, то там, в белой пелене размытый, едва видимый силуэт вздрагивает и исчезает, словно унесенный снежным порывом. Они идут медленно, мелкими шажками, друг за другом, след в след, то и дело протягивая руку и толкая впереди идущего в спину — мол, я тут, и ты тут, мы вместе, мы идем, мы обязательно дойдем. Дойдем домой.

Вдруг их цепочка останавливается. Это Буке — именно он первый замешкался, пристально глядя куда-то влево, а потом и вообще застыл, как вкопанный. Они окружают его — благодарные внезапной передышке, разочарованные потерей времени.

— Что это? — спрашивает Буке, прищуриваясь.

Он указывает рукой на смутную тень впереди.

Это те самые гвардейцы, что приходили к их костру. Кажется, никто так и не пустил их к себе, не подвинулся, не дал места у спасительного тепла, сжираемый застарелой завистью. Оставшись в одиночестве, они поддерживали друг друга до последнего – осколки великой Старой Гвардии, верные чести и дружбе до смертного одра.

Сон, усталость и голод сморили их, стреножили, превратили каждый шаг в пытку. Они не осмелились лечь в снег – это означало бы добровольно отдаваться в лапы верной смерти. Старики оперлись друг о друга, переплели руки, сдвинулись плечами – и уснули. Иней серебрится на их усах, сверкает на ресницах, подернул морщинистые щеки.

Солдаты бредут мимо этого молчаливого укора их злобе и жадности – и предвестника их будущего. Кажется, что это не люди идут – а течет река смерти.

Ноги каменеют, колени хрустят, как сухое дерево. Лабрю кусает губы от боли и, чтобы не завыть, истошно кричит ветер и холод:

– Я! Иду! Домой! Я! Вернусь! Домой!

Колючий ветер подхватывает его слова и уносит прочь.

Когда французы ушли дальше, на Москву, жители деревни, похоронив погибших и забрав с собой жалкие остатки имущества, бежали на север, подальше от французских путей. Виська не знает, что с ними стало – может быть, сумели добраться до других деревень и уговорили принять их, заселили заброшенные дома на отшибе; а может быть, сгинули без следа в лесу, увязли в болотах, унесены реками, опрометчиво попытавшись пересечь их вброд. Виську никто не звал с собой, да и не взял бы, даже если он попросился – кому нужен лишний рот, приблудившийся по весне сирота-беспризорник? Да, здесь Виську подкармливали, давали кров в амбара, он за кое-какую одежонку, перешитую с чужого плеча, помогал на огородах, пас скотину, и носил мужикам в поле кувшины с квасом – но это было тогда, когда жизнь была мирной и сытой. Сейчас же, когда голод запустил свои ледяные пальцы в тощие котомки, Виська оказался не у дел.

Поэтому он остался здесь, вместе с дедом Митяем. Тот, бывший лесник, лет десять назад схоронил жену, дети – все пятеро – померли еще во младенчестве, и он не видит смысла куда-то бежать, покидать пусты и разоренный и разрушенный, но дом. Жизнь в деревне дается деду Митяю с трудом – он не знает каких-то простых, привычных крестьянину вещей, не умеет толком ухаживать за избой – но и в лес возвратиться он тоже не может: сторожка сгорела, а сил построить новую уже не хватает. Да и лес уже не тот – голый и пустой, он больше не приветлив к бывшему другу.

Виське голодно. Тощих зайцев, которых приносит дед Митяй, бормоча что-то про покинувших лес животных, ему не хватает. Он не жалуется деду, наоборот, благодарит со всем жаром своего немого языка и плохо слушающихся рук – но потом, подгоняемый сосущей тоской под ложечкой, начинает рыскать по полуразрушенным домам, разоренным огородам и ближайшей лесной балке – авось, что-то пропустил в прошлый раз?

В первые недели после ухода французов на Москву он еще надеялся – с жаром обшаривал дома, покраснев от натуги, поднимал тяжелые крышки подполов, залезал по шатающимся, с недостающими ступеньками, лестницам на чердаки.

Эти надежды рухнули разом в один августовский день.

Полчища мух облепили тогда деревню, пируя на остатках. Они даже не разлетались при появлении человека – лишь если их прогоняли прутиком, поднимались со своей гнусно пахнущей добычи, недовольно жужжа, тыкаясь в нос и рот, мстительно залепляя лицо и путаясь в волосах.

В этой избе мух было особенно много – они шевелящимся черным ковром покрыли стены, зудели и шебуршали на полу, ползали по потолку, то и дело срываясь вниз и

оглушенные, пытались перевернуться. Виська никогда еще не видел настолько сытых и опьяневших от еды мух – и подумал, что и ему с дедом Митяем что-то да перепадет.

Он облизал все – полати, лавку, перерыл сени, даже развершил старое, прогнившее бабское приданое в разбитом сундуке. Еды нигде не было – и тем большую зависть вызывали осоловевшие и наглые мухи.

Виська был терпелив и проследил за ними. Они влетали и вылетали – а точнее уже, тяжело пошатываясь, выползали – из заваленного хламом и балками, полусожженного, заваленного рухнувшей крышей угла. Виське стоило неимоверных усилий и целого дня, чтобы хоть как-то разгрести хлам, раздвинуть с помощью старого багра балки – и прорыться в получившуюся узкую щель. Но голод и предвкушение еды придавали ему сил.

Там было просторно и даже светло – солнце проникало сквозь большие, с палец толщиной, щели. Зацепившись за выступ, практически под самой крышей, висело что-то, похожее на мешок. «Репа!» – замерло в восхитительной догадке Виськино сердце: в деревне умели хитро заготавливать репу с прошлого года, переложив солью и золой.

Виська, сглатывая жадную слюну и предвкушая благодарность в глазах деда Митяя, потянул находку на себя – и мешок упал на него, обдав густым удушающим запахом. А потом развернулся, раскинув полуразложившиеся, с осклизлой, сползающей с костей плотью, руки и ноги.

Это был человек. Судя по длинным, когда-то светлым, а теперь лезущим пучками, зеленовато-синим, волосам – женщина. Лицо распухло как брюква в дождь, в пустых глазницах поселилась плесень, изо рта, мелко семяня, выскоцилзнуло какое-то насекомое.

Она развалилась у Виськи в руках, распалась на части, как разорванная, растерзанная тряпичная кукла – и дед Митяй так и похоронил ее, по частям, завернув каждый кусок тела в тряпицу. Они так и не узнали, кто это был – поэтому просто поставили грубо сколоченный деревянный крест.

С тех пор Виська больше никогда не лазил по чужим домам. Он видел в них гигантские немые могилы – и боялся потревожить тех, кто остался в них навечно.

– Конец мне, – говорит Поклен, тупо смотря на снег у ног. – Кровью харкаю. В груди ломит. Конец.

Все молчат.

– Куда вы меня похороните? – спрашивает он.

Конечно, никто не собирается его хоронить – нет ни сил, ни возможности, ни желания долбить мерзлую землю. Поклен и сам понимает это.

– Похороните меня, пожалуйста! – жалобно стонет он.

Буке зачем-то начинает рассказывать, как хоронили писаря из третьей роты, умершего от дизентерии в Москве.

– Гробовщик, жидовская морда, цену заломил за новый гроб, как будто мы карету покупали! – сплевывая тягучую, желтую от табака слюну, повествует он. – А готовых нет, сказал, что гвардия в первый же день все скупила, даже детские – мол, для ампутантов сгодятся. Деваться некуда, пришлось самим сколачивать. Зашли в один из домов – ох, а красиво-то как там было! люстры хрустальные, картины по стенам, шторы... хозяева-то с Москвы сбежали, а все с собой прихватить не смогли. Ну мы им и подсобили в деле освобождения дома от лишнего барахла!

Буке довольно хлопает по раздутому ранцу. Остальные ухмыляются – нет никого, кто удергался бы от... нет, не мародерства, просто от того, чтобы взять кое-что, что им причиталось. А им ведь причитается, не так ли? Это же военная добыча, да?

– Ну и вот, – продолжает Буке. – Мы отодрали паркет, вытащили гвозди, на которых картины висели – и сколотили. Конечно, получилось так себе, щели в палец толщиной – но какая бедняге уже разница?

Белесый, мутный свет настолько вязок, что кажется, будто он течет отовсюду. Поле покрыто оврагами и ямами, как шрамами и осинами. Голые деревья застыли, словно выкрученные судорогой.

Солдаты копошатся в рыхлинах, возятся в ямах и канавах.

«Мы зерна, – лениво ворочается в оцепеневшем от холода и голода мозгу Лабрю одинокая мысль. – Мы зерна, брошенные в землю. Нам надо закопаться, чтобы не промерзнуть...»

Буке рядом с ним присаживается на корточки и начинает голыми руками рыть землю, отбрасывать в стороны мерзлые комки.

Лабрю стучит прикладом по плечу Буке. Заледенелая ткань отдается звоном.

«Гробы уже надеты на нас, – думает Лабрю. – Нам достаточно просто лечь в снег – и мы уже похоронены».

– Я вернусь домой, – говорит он вслух. – Я вернусь.

– Смотри, – шепчет ему на ухо Буке. Его худое бескровное лицо искажено гримасой, глаза лихорадочно блестят, рука указывает на причудливое сплетение тел у самого края земли.

Это мертвецы. Они попали в овраг – видимо, соскользнули туда в предрассветной мгле – и не смогли выбраться. Их скрюченные пальцы так и вмерзли в обледеневшую землю. Лица, застывшие масками, подняты к небу.

– Эта земля отравлена, – бормочет Буке. – Такая хорошая земля, сколько хлеба могло быть! А теперь тут ржавое железо и гнилое мясо...

Они спускаются в низины, поднимаются на пригорки, идут то вверх, то вниз, ноги то вязнут, то скользят. Кажется, что это сама земля всучивалась и лопалась здесь, что это из ее недр что-то рвалось на волю.

Они ступают по трупам.

Некоторые уже заплесневели, их кожа будто покрыта ржавчиной, усыпана черными пятнами. В оврагах, где стоячая вода еще даже не прихвачена коркой льда, теснятся черные, раздутые, с вывернутыми губами и выпученными синюшными глазами, головы – когда-то раненые, эти солдаты скатились в овраг, увязли в топкой, засасывающей грязи и исступленно и бесплодно скребли обрывистые склоны, в попытках выбраться. Стоило кому-то приподняться чуть выше других – как те хватали его за ремень и стаскивали обратно, в попытках использовать его как ступеньку.

Буке запинается обо что-то, чуть не падает и негромко ругается сквозь сжатые зубы. Его нога в чем-то запуталась, и он дергает ее, пытаясь высвободиться. Наконец, жалобно поднимает глаза на Лабрю.

– Мертвец, – испуганно шепчет он. – Мертвец держит меня.

Пораженный этой внезапной вспышкой суеверия, Лабрю вытаскивает нож и наклоняется к комку грязи, намертво прицепившемуся к сапогу Буке. Это чья-то отрубленная рука – аккуратно, по линии кисти, словно ее готовили манекеном перчаточному мастеру – из нее торчат спутанные и слипшиеся жилы – точь-в-точь силок для кролика. Лабрю пилит эти жилы – они смерзлись, став твердыми, как металлическая проволока и только гнутся под лезвием – пыхтя, он раздвигает их, и нога Буке выходит, как пробка из бутылки.

– Должен, – бросает ему Лабрю, пряча нож обратно.

Буке кивает, продолжая с ужасом смотреть на руку.

– Мертвец, – едва шевеля губами, бормочет он. – Мертвец не пускал меня.

Лабрю треплет его по плечу и слегка подталкивает в спину: мол, что за ерунда, разве мертвецов раньше не видал?

Они идут дальше, все еще стараясь переступать через трупы, но все чаще и чаще ощущая под ногами чью-то твердую, как камень, окоченевшую плоть.

А здесь ядро упало на излете, прокатившись по солдатам, смолов их в кашу. Перед ними добрый аршин багрового мяса, желтоватого жира, белых осколков костей, синих обрывков ткани, коричневых кусков кожи – и поверх этого всего, как патина на старинных картинах, нежнейшая зеленовато-голубая плесень. Ее уже прихватили заморозки, проседила изморозь – но она до сих пор кажется ворсом роскошного турецкого ковра с причудливым и извращенным багрово-желто-бело-сине-коричневым рисунком. Лабрю мешкает, не решает потревожить эту красоту – о том, что ее соткали своими размозженными телами мертвцы, он и не думает – но, наконец, ступает на нее.

На краю поля лежит солдат. Издалека кажется, что он спит, но подходя ближе, Лабрю видит срезанную, как ножом верхнюю часть туловища – нет ни головы, ни шеи, ничего выше плеч. Рядом валяется обрывок ремня, на который нанизана связка уже побелевших и потемневших хлебов – этот солдат разносил еду.

Колиньи, воровато озираясь, присаживается на корточки и начинает лихорадочно набивать рюкзак.

– Путь домой долгий, – ни к кому не обращаясь, объясняет он. – Очень долгий.

Ришар, подумав, присоединяется к нему. Вдвоем они быстро опустошают ремень. Поднимаясь на ноги, они замечают Лабрю и Ришар, широко улыбнувшись, протягивает ему краюху. Лабрю качает головой и жестом отказывается от этого последнего дара мертвца.